На маяк

Автор:
Вирджиния Вулф

На маяк

Вирджиния Вулф

Эксклюзивная классика (АСТ)

Изысканный роман, в котором смешиваются и переплетаются времена действия, а лето, проведенное состоятельным семейством Рэмзи на острове Скай, оказывается своеобразной британской «хроникой утраченного времени» – хрупкого, почти идиллического времени, обреченного на скорое разрушение Первой мировой войной.

Вырастут дети – кто-то уцелеет и повзрослеет, кто-то сложит голову на полях сражений. Забудутся мелкие неудачи и обиды. Будет заброшен старый дом, зарастет сад. Но воплотится ли в жизнь хоть для кого-то из детей Рэмзи мечта о поездке на далекий маяк?..

Вирджиния Вулф

На маяк

Роман

Virginia Woolf

To the Lighthouse

* * *

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© Перевод. Е. Суриц, наследники, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2018

I

У окна

1

– Да, непременно, если завтра погода будет хорошая, – сказала миссис Рэмзи. – Только уж встать придется пораньше, – прибавила она.

Ее сына эти слова невероятно обрадовали, будто экспедиция твердо назначена и чудо, которого он ждал, кажется, целую вечность, теперь вот-вот, после ночной темноты и дневного пути по воде, наконец совершится. Принадлежа уже в свои шесть лет к славному цеху тех, кто не раскладывает ощущений по полочкам, для кого настоящее сызмальства тронуто тенью нависшего будущего и с первых дней каждый миг задержан и выделен, озарен или отуманен внезапным поворотом чувства, Джеймс Рэмзи, сидя на полу и вырезая картинки из иллюстрированного каталога Офицерского магазина, при словах матери наделил изображение ледника небесным блаженством. Ледник оправился в счастье. Тачка, газонокосилка, плеск поседевших, ждущих дождя тополей, грай грачей, шелест швабр и платьев – все это различалось и преображалось у него в

голове, уже с помощью кода и тайнописи, тогда как воплощенная суровость на вид, он так строго поглядывал из-под высокого лба свирепыми, безупречно честными голубыми глазами на слабости человечества, что мать, следившая за аккуратным продвижением ножниц, воображала его вершителем правосудия в горностаях и пурпуре либо вдохновителем важных и неумолимых государственных перемен.

– Да, но только, – сказал его отец, остановясь под окном гостиной, – погода будет плохая.

Окажись под рукой топор, кочерга или другое оружие, каким бы можно пробить отцовскую грудь, Джеймс бы его прикончил на месте. Так выводило детей из себя само присутствие мистера Рэмзи; когда он так вот стоял, узкий, как нож, острый, как лезвие, и саркастически усмехался, не только довольный тем, что огорчил сына и выставил в глупом свете жену, которая в сто тысяч раз его во всех отношениях лучше (думал Джеймс), но и тайно гордясь непогрешимостью своих умозаключений. То, что он сказал, была правда. Вечно была правда. На неправду он был неспособен; никогда не подтасовывал фактов; ни единого слова неприятного не мог опустить ради пользы или удовольствия любого из смертных, тем паче ради детей, которые, плоть от плоти его, с младых ногтей обязаны были помнить, что жизнь – вещь нешуточная; факты неумолимы; и путь к той обетованной стране, где гаснут лучезарнейшие мечты и утлые челны гибнут во мгле (мистер Рэмзи распрямился и маленькими сощуренными голубыми глазками обшаривал горизонт), путь этот прежде всего требует мужества, правдолюбия, выдержки.

– Но погода еще, может быть, будет хорошая – я надеюсь, она будет хорошая, – сказала миссис Рэмзи и несколько нервно дернула красно-бурый чулок, который вязала. Если она с ним управится к завтраму, если они в конце концов выберутся на маяк, она подарит чулки смотрителю для сынишки с туберкулезом бедра; прибавит еще газет, табаку, да и мало ли что еще тут валяется, в общем-то, без толку, дом захламляет, и отправит беднягам, которым, наверное, до смерти надоело день-деньской только и делать, что начищать фонарь, поправлять фитиль и копошиться в крохотном садике – пусть хоть немного порадуются. Да, вот каково это – месяц, а то и дольше быть отрезанным на скале с теннисную площадку размером? Не получать ни писем, ни газет, не видеть живой души; женатому – не видеть жену, не знать про детей, может, они заболели, руки-ноги переломали; день за днем смотреть на пустые волны, а когда поднимается буря – все окна в пене, и птицы насмерть разбиваются о фонарь, и башню качает, и

носа наружу не высунешь, не то тебя смоет. Вот каково это? Как бы вам такое понравилось? – спрашивала она, адресуясь в основном к дочерям. И совсем по-другому добавляла, что надо, чем можно, стараться им помочь.

– Резко западный ветер, – сказал атеист Тэнсли, сопровождавший мистера Рэмзи на вечерней прогулке туда-сюда, туда-сюда по садовой террасе, и, растопырив костлявую пятерню, пропустил ветер между пальцев. То есть, иными словами, самый что ни на есть неудачный ветер для высадки у маяка. Да, он любит говорить неприятные вещи, миссис Рэмзи не отрицала; и что за манера соваться, вконец огорчать Джеймса; но все равно она его не даст им в обиду. Атеист. Тоже – прозвище. Атеистишка. Роза его дразнит; Пру дразнит; Эндрю, Джеспер, Роджер – все его дразнят; даже Таксик, старикашка без единого зуба, и тот его тяпнул за то (по заключению Нэнси), что он сто десятый молодой человек из тех, кто погнался за ними вслед до самых Гебридов, а ведь как бы славно побыть тут одним.

– Вздор, – очень строго сказала миссис Рэмзи.

И дело даже не в склонности к преувеличеньям, которая у детей от нее, и не в намеке (справедливом, конечно) на то, что она слишком много народу приглашает к себе, а надо бы размещать в городке, но она не позволит нелюбезного отношения к своим гостям, особенно к молодым людям, которые бедны как церковная крыса, «способностей необыкновенных», муж говорил; от души ему преданы и приехали сюда отдохнуть. Впрочем, она вообще брала под крыло представителей противоположного пола; она не собиралась объяснять почему – за рыцарство, доблесть, за то, что составляют законы, правят Индией, управляют финансами, в конце концов, за отношение к ней самой, которое женщине просто не может не льстить, – такое доверчивое, мальчишеское, почтительное; которое старая женщина вполне может позволить юнцу, не роняя себя; и беда той девушке – не дай Бог такого кому-нибудь из ее дочерей, – которая этого не оценит и не почует нутром, что за этим стоит.

Она строго одернула Нэнси. Он за ними не гнался. Его пригласили.

Из всего этого как-то надо было выпутываться. Есть, наверное, простой, менее изнурительный путь. Она вздохнула. Когда смотрелась в зеркало, видела впалые щеки, седые волосы в свои пятьдесят, она думала, что, наверное, можно бы и ловчее со всем этим управляться: муж; деньги; его книги. Но зато себя лично ей не в чем упрекнуть – нет, никогда, ни на секунду она не пожалела о взятом

решении; не избегала трудностей; не пренебрегала своим долгом. Вид у нее был грозный, и дочки – Пру, Нэнси, Роза, – подняв глаза от тарелок после того, как им досталось за Чарльза Тэнсли, только молчком могли предаваться своим предательским любимым идеям насчет другой жизни, совсем не такой, как у нее; возможно, в Париже; повольготней; не в вечных хлопотах о ком-то; потому что поклонение, рыцарство, Британский банк, Индийская империя, перстни, жабо в кружевах были, честно сказать, у них под сомненьем, хотя все это и сопрягалось в девичьих сердцах с представлением о красоте и о мужественности и заставляло, сидя за столом под взором матери, уважать ее странную строгость правил и эти ее преувеличенные понятия об учтивости (так королева поднимает из грязи ногу нищего и обмывает), когда она строго их одернула из-за несчастного атеистишки, который погнался за ними – или, если точнее сказать, – был приглашен погостить у них на острове Скай.

– Завтра у маяка нельзя будет высадиться, – сказал Чарльз Тэнсли и хлопнул в ладоши, стоя под окном рядом с ее мужем. В самом деле, кажется, он достаточно высказался. Пора бы уж, кажется, оставить их с Джеймсом в покое; пусть бы продолжали беседовать. Она на него посмотрела. Жалкий экземпляр, говорили дети, сплошное недоразумение. В крикет играть не умеет; горбится; шаркает. Злая ехидна, – говорил Эндрю. Они раскусили, что ему в жизни нужно одно – вечно взад-вперед прогуливаться с мистером Рэмзи и толковать, кто обосновал то, кто доказал это, кто тоньше всех понимает латинских поэтов, кто «блестящ, но, полагаю, недостаточно основателен», кто несомненно «одареннейший человек в Бейллиоле», кто покамест прозябает в Бедфорде или в Бристоле, но о нем еще заговорят, когда его Пролегомены (мистер Тэнсли захватил с собою первые страницы машинописи на случай, если мистер Рэмзи захочет взглянуть) к какой-то области математики или философии будут опубликованы.

Она сама иной раз еле удерживалась от смеха. На днях она что-то сказала насчет «несусветных волн». «Да, – сказал Чарльз Тэнсли, – море несколько неспокойно». – «Вы промокли насквозь, не правда ли?» – сказала она. «Промок, но не то чтоб насквозь», – отвечал мистер Тэнсли, ощупав носки и ущипнув себя за рукав.

Но, дети говорили, злит их другое. Дело не во внешности, не в повадке. В нем самом – в его понятиях. О чем ни заговоришь – об интересном, о людях, о музыке, об истории, да о чем угодно, мол, теплый вечер и почему бы не погулять, Чарльз Тэнсли, – вот что несносно, – пока как-то так не передернет, не

сведет на себя, не принизит тебя, не обозлит этой своей гадкой манерой дух из всего выколачивать – он ведь не уймется. И в картинной галерее он будет спрашивать, – они говорили, – как тебе нравится его галстук. А уж какое там нравится, – прибавляла Роза.

Крадучись, как холостяки после званого обеда, сразу после еды восемь сыновей и дочерей мистера и миссис Рэмзи разбрелись по комнатам, по своим крепостям в доме, где иначе ничего не обсудишь тишком: галстуки мистера Тэнсли; прохожденье реформы; морских птиц; бабочек; ближних; а солнце меж тем затопляло мансарды, разделенные дощатыми переборками, так что каждый шаг отчетливо слышался, и рыданье юной швейцарки, у которой отец умирал от рака в долине Граубюндена, подпаляло крикетные биты, спортивные брюки, канотье и чернильницы, этюдники, мошек, черепа мелких птиц и выманивало запах соли и моря из длинных, бахромчатых, повешенных на стены водорослей, а заодно из набравшихся им после купанья вместе с песком полотенец.

Споры, распри, несоответствия взглядов, заскоки – куда от них денешься, да только уж зачем с ранних лет, – огорчалась миссис Рэмзи. До чего они непримиримы – ее дети. Мелют вздор. Она шла из столовой, ведя за руку Джеймса, не пожелавшего присоединиться ко всем. Что за бред – сочинять несоответствия, когда, слава Богу, и без того никакой гармонии нет. В жизни хватает, очень даже хватает настоящих несоответствий, – думала миссис Рэмзи, остановясь в гостиной подле окна. Она имела в виду богатых и бедных; высокое и низкое происхождение; и волей-неволей ей приходилось отдавать должное знатности; ведь разве не текла в ее жилах кровь весьма высокого, хоть и несколько мифического, итальянского рода, чьи дочери, рассеясь по английским гостиным в девятнадцатом веке, умели так сладостно ворковать, так неистово вскидываться, и разве свое остроумие, всю повадку и нрав она взяла не от них? Не от сонных же англичанок, не от льдышек-шотландок; но сейчас ее больше волновало другое – богатство и бедность, то, что она видела собственными своими глазами, еженедельно, ежедневно, здесь в Лондоне, когда посещала то вдову, то загнанную мать – сама, с корзинкой в руке, с пером и блокнотом, в который аккуратными столбиками заносила жалованья и расходы, периоды найма и безработицы, надеясь таким манером из обычной женщины, занимающейся филантропией (примочка к больной совести, средство для ублажения любопытства), сделаться тем, что в простоте души она ставила так высоко – исследователем социальных проблем.

Вопросы это неразрешимые, – так ей сдавалось, когда, держа за руку Джеймса, она стояла у окна. Он потащился за нею следом в гостиную, – молодой человек, над которым все потешались; стоял возле стола, что-то неловко перебирал, чувствовал себя изгоем – она знала не оборачиваясь. Все они ушли – ее дети; Минта Доил и Пол Рэйли; Август Кармайкл; ее муж, – все ушли. Вот она и повернулась со вздохом и сказала:

– Вам не скучно будет меня сопровождать, мистер Тэнсли?

У нее разные неинтересные дела в городе; еще надо написать несколько писем; она будет минут через десять; надо шляпу надеть. И через десять минут она явилась с корзинкой и зонтиком, давая понять, что готова, снаряжена для прогулки, которую, однако, ей пришлось прервать на минуточку, огибая теннисный корт, чтобы спросить у мистера Кармайкла, который грелся на солнышке, приоткрыв желтые кошачьи глаза (и, как в кошачьих глазах, в них отражалось качание веток и ток облаков, но ни единой мысли, ни чувства), не надо ли ему чего.

Они затеяли грандиозную вылазку, – сказала она, смеясь. Отправляются в город. «Марок, бумаги, табаку?» – предлагала она, остановясь с ним рядом. Но нет, оказалось, ему ничего не нужно. Он пожимал собственное объемистое брюшко, моргал, словно и рад бы ответить любезно на ее угожденья (она говорила искусительно, хоть и чуть-чуть нервничала), но не мог пробиться сквозь серо-зеленую сонь, которая все обволакивала, отнимая слова, летаргией сплошного доброжелательства; весь дом; весь свет; всех на свете, – потому что за ланчем он накапал-таки в стакан несколько капель, которыми и объяснялись, думали дети, ярко-канареечные разводы на бороде и усах, собственно, белых как лунь. Ему ничего не нужно, – бормотнул он.

Из него бы вышел великий философ, – говорила миссис Рэмзи, когда они спускались по дороге в рыбачий поселок, – но он неудачно женился. – Очень прямо держа черный зонтик и странно устремляясь вперед, так, словно вот сейчас, за углом, кого-то встретит, она рассказывала; история с одной девицей в Оксфорде; ранний брак; бедность; потом он поехал в Индию; немного переводил стихи, «кажется, дивно», брался обучать мальчишек персидскому, не то индустани, но кому это нужно? – и вот пожалуйста, как они видели, – на травке лежит.

Он был польщен; его обидели, и теперь его утешало, что миссис Рэмзи ему такое рассказывает. Чарльз Тэнсли воспрял духом. И, намекнув на величие мужского ума даже в упадке и на то, что жены должны – (против той девицы она как раз ничего не имела, и брак был довольно удачный, кажется) – все подчинять трудам и заботам мужей, она вселила в него еще неизведанное самоуважение, и он рвался, если они, скажем, наймут пролетку, заплатить за проезд. А нельзя ли ему понести ее сумку? Нет, нет, – сказала она, – уж это она всегда сама носит. Да, конечно. Он это в ней угадывал. Он многое угадывал, и особенно что-то такое, что его будоражило, выбивало из колеи неизвестно почему. Ему хотелось, чтоб она увидала его в процессии магистерских мантий и шапочек. Профессорство, докторство – все было ему нипочем, – но на что это она там засмотрелась? Человек клеил плакат. Огромное хлопающее полотнище распластывалось, и с каждым мановением кисти являлись: ноги, обручи, кони, сверкая красным и синим, глянцевито, зазывно, – покуда полстены не закрыла цирковая афиша; сто наездников; двадцать ученых моржей; львы, тигры… Вытягивая вперед шею по причине близорукости, она разобрала, что они будут «впервые показаны в нашем городе». Но это же опасно, вскрикнула она, нельзя однорукому так высоко забираться на лестницу – два года назад ему отхватило косилкой левую руку.

– Все давайте пойдем! – вскрикнула она, трогаясь с места, будто все эти кони и всадники наполнили ее ребяческой радостью и вытеснили жалость.

– Давайте пойдем, – повторил он слово в слово, но с такой неловкостью их выталкивал, что ее покоробило. «Пойдемте в цирк!» Нет, не мог он этого выговорить как надо. Он не мог этого почувствовать как надо. Отчего? – гадала она. Что с ним такое? Он в эту минуту ужасно ей нравился. Разве их в детстве не водили в цирк? – спросила она. – Ни разу, – выпалил он, будто только и дожидался ее вопроса; будто все эти дни только и мечтал рассказать, как их не водили в цирк. Семья у них была большая, восемь человек детей, отец – простой труженик. «Мой отец аптекарь, миссис Рэмзи. Он держит аптеку». Сам он с тринадцати лет себя содержит. Не одну зиму проходил без теплого пальто. Никогда не мог «соответствовать оказываемому гостеприимству» (так выморочно он выразился) у себя в колледже; вещи носит вдвое дольше, чем все; курит самый дешевый табак; махорку; вот как старые бродяги на пристани; работает как вол – по семи часов в день; его тема – влияние кого-то на что-то; они зашагали быстро, и миссис Рэмзи уже не ухватывала смысла, только отдельные слова… диссертация… кафедра… лекция… оппоненты… Она слушала вполуха противный академический волапюк, поехавший как по маслу, но говорила себе, что теперь-то ясно, почему приглашение в цирк его вывело из

равновесья, бедняжечку, и почему его сразу так прорвало насчет родителей, братьев, сестер; и уж теперь-то она приглядит, чтобы его больше не дразнили; надо все рассказать Пру. Приятней всего ему, наверно, было бы потом рассказывать, как Рэмзи его водили на Ибсена. Он жуткий сноб, это да, и нудный донельзя. Вот они уже вошли в городок, вышагивали главной улицей, мимо грохали по булыжнику тачки, а он все говорил, говорил: про преподаванье, призванье, простых тружеников, и что наш долг «помогать своему классу», про лекции – и она поняла, что он совершенно оправился, о цирке забыл и собирается (и опять он ужасно ей нравился) сказать ей… – но дома по обеим сторонам расступились, и они вышли на набережную, перед ними раскинулась бухта, и миссис Рэмзи не удержалась и вскрикнула: «Ах, какая прелесть!» Перед нею лежало огромное блюдо синей воды; и маяк стоял посредине – седой, неприступный и дальний; а направо, насколько хватал глаз, сплываясь и падая мягкими складками, зеленые песчаные дюны в колтунной траве бежали-бежали в необитаемые лунные страны.

Этот вид, сказала она, останавливаясь, и глаза у нее потемнели, страшно любит ее муж.

На минуту она замолкла. А-а, сказала она потом, тут уже художники… В самом деле, всего в нескольких шагах стоял один, в панаме, желтых ботинках, серьезный, сосредоточенный, и – изучаемый стайкой мальчишек – с выраженьем глубокого удовлетворения на круглой красной физиономии всматривался вдаль и, всмотревшись, склонялся; погружал кисть во что-то розовое, во что-то зеленое. С тех пор как тут три года назад побывал мистер Понсфурт, все картины – такие, сказала она, – зеленые, серые, с лимонными парусниками и розовыми женщинами на берегу.

А вот друзья ее бабушки, сказала она, скосив украдкой взгляд на ходу, – те из кожи вон лезли; сами краски растирали; потом грунтовали и потом еще занавешивали мокрыми тряпками, чтобы не пересохли.

Значит, заключал мистер Тэнсли, она хочет сказать, что картина у этого типа никчемная? В таком духе? Краски негодные? В таком духе? Под влиянием удивительного чувства, которое наливалось во все время пути, назревало в саду, когда он хотел взять у нее сумку, едва не перелилось через край, когда он, на набережной, собирался ей рассказать о себе все, – он чуть не перестал понимать самого себя и не знал, на каком он свете. В высшей степени странно.

Он стоял в зальце захудалого домика, куда она его привела, ждал, пока она на минуточку заглянет наверх проведать одну женщину. Слушал ее легкие шаги; звонкий, потом матовый голос; разглядывал салфеточки, чайницы, абажурчики; нервничал; старательно предвкушал обратный путь; решал непременно отобрать у нее сумку; слушал, как она вышла; закрыла дверь; сказала, что окна надо держать открытыми, двери – закрытыми, и если что – пусть сразу к ней (кажется, обращалась к ребенку), – и тут она вошла, мгновенье стояла молча (будто наверху притворялась и теперь должна отдохнуть), мгновенье стояла, застыв под королевой Викторией в синей перевязи ордена Подвязки; и вдруг он понял, что это – вот оно, вот: в жизни еще он не видел никого, так дивно прекрасного.

Звезды в ее глазах, тайна у нее в волосах; и фиалки, и цикламены – ну что, ей-богу, за чушь ему лезет в голову? Ей же минимум пятьдесят; у нее восемь человек детей; ломкие ветки прижимая к груди и заблудших ягнят, бродит она по цветочным лугам; звезды в ее глазах, в волосах ее – ветер… Он взял у нее сумку.

– До свиданья, Элси, – сказала она, и они пошли по улице, и она очень прямо держала зонтик и шла так, будто кого-то встретит сейчас за углом, а Чарльз Тэнсли тем временем чувствовал невероятную гордость; человек, рывший канаву, перестал рыть и смотрел на нее; уронил руки вдоль тела и смотрел на нее; Чарльз Тэнсли чувствовал невероятную гордость; чувствовал ветер, и фиалки, и цикламены, потому что в первый раз в жизни шел с дивно прекрасной женщиной. Он сумел завладеть ее сумкой.

2

– Ехать на маяк не придется, Джеймс, – сказал он, стоя под окном, и сказал так противно, даром что из почтения к миссис Рэмзи старался выдавить из себя хоть подобие доброжелательства.

Противный молокосос, думала миссис Рэмзи, и как ему не надоест.

3

– Вот ты завтра проснешься, и еще окажется – солнышко светит, птички поют, – сказала она ласково и погладила мальчика по голове, потому что муж, она видела, своим едким замечанием о том, что погода будет плохая, на него ужасно подействовал. Он спит и видит поездку на маяк, это ясно, и потом – уж достаточно, кажется, сказал муж своим едким замечанием о том, что погода будет плохая, так нет же, противному молокососу надо снова и снова совать ему это в нос.

– Погода завтра, может быть, еще будет хорошая, – сказала она и погладила его по головке.

Теперь только и оставалось восхищаться ледником и листать каталог, выискивая какие-нибудь грабли, косилку, такое что-нибудь с ручками, зубчиками, что не вырежешь без исключительной ловкости. Все эти юнцы буквально пародируют мужа; скажет он – будет дождь; и они уже сразу: разразится страшная буря.

Но вот она перевернула страницу и вдруг прервала поиски косилки и грабель. Низкое воркотанье, прерываемое только писком засасываемой и вынимаемой изо рта трубки и убеждавшее в том (хоть слов она не разбирала, сидя в гостиной у окна), что мужчины благополучно беседуют, – этот звук, который длился уже полчаса и мирно оттенял другие падавшие на нее звуки – шлепки бит по мячам, выкрики «Сколько? Сколько?» с крикетной площадки, – звук этот вдруг оборвался; и рокот волн, который обычно стройно струился в лад мыслям или, когда она сидела с детьми, утешно твердил старые-старые слова колыбельной в исполнении природы: «Я опора твоя, я защита твоя», но стоило отвлечься от повседневных дел, сразу совсем не так нежно звучал, но роковым барабаном отбивал такт жизни, напоминая, что остров ведь оседает, того гляди его проглотит море, предупреждал посреди мирной домашности и круговерти, что все зыбко, как радуга, – вот этот-то звук, затененный было и скрытый другими, вдруг поло ударил ей в уши, и она вздрогнула и вскинула взгляд.

Они уже не разговаривали; вот в чем отгадка. Вмиг перестав тревожиться и перейдя к другой крайности, словно вознаграждая себя за зряшное расточительство чувств, с любопытством, холодком, не без некоторого даже ехидства она заключила, что бедняжку Чарльза Тэнсли отставили. А это уж не ее забота. Если мужу нужны жертвы (о, еще как нужны!), она ему с удовольствием

жертвует Чарльза Тэнсли, который обидел ее бедного мальчика.

Она еще мгновенье вслушивалась, подняв голову, ловя привычный, ровный, механический звук; и вот услышала нечто ритмическое, распев, то ли речитатив, со стороны сада, где муж метался взад-вперед по террасе, нечто сродни сразу песне и карканью, и тотчас она успокоилась, убедясь, что все идет хорошо, и глянув в распластанную на коленях книгу, напала на изображение перочинного ножичка о шести лезвиях, который Джеймс мог вырезать, только если будет очень стараться.

Вдруг дикий вопль, как полуразбуженного сомнамбулы:

Под ярый снарядов вой! —

ворвался в ее слух и заставил в тревоге оглядеться, чтоб проверить, не слышал ли кто. Только одна Лили Бриско, убедилась она с удовольствием; ну, это ничего. Но, глянув на девушку, стоявшую у края лужка с мольбертом, она вспомнила: ей же надо по возможности не вертеть головой – ради картины Лили. Картина Лили! Миссис Рэмзи усмехнулась. С этими своими китайскими глазками и личиком с кулачок замуж ей не выйти; картины ее нельзя принимать всерьез; но она такая независимая, бедняжечка, миссис Рэмзи это в ней страшно ценила, и, вспомнив о своем обещании, она снова склонила голову.

4

Он просто чуть мольберт ей не сшиб, чуть не налетел на нее, размахивая руками, вопя: «Смело кидаясь в бой!», но, слава Богу, рывком повернул и галопом помчался прочь, славно пасть, надо полагать, на высотах Балаклавы. Ну как можно быть таким смехотворным и пугающим одновременно? Но покуда он этак вопит и размахивает, можно не опасаться; он не остановится, не уставится на ее картину. А уж этого бы Лили Бриско просто не вынесла. Даже вглядываясь в массу, линию, цвет, в миссис Рэмзи, сидевшую у окна с Джеймсом, она невольно следила за тем, чтоб кто-нибудь не подкрался, не застиг ее картину врасплох. Но вот в напряжении всех чувств вглядываясь, впитывая, покуда цвет стены и лепящегося к ней ломоноса не обжег ей глаза, она заметила, что кто-то вышел из дому, приблизился; но почему-то по шагам угадала, что это Уильям

Бэнкс, и хоть кисть дрогнула у нее в руке, она все же (как было бы непременно, окажись на его месте мистер Тэнсли, Пол Рэйли, Минта Дойл, да кто угодно, в сущности) не швырнула холст плашмя на траву, но оставила на мольберте. Уильям Бэнкс стоял с нею рядом.

Они квартировали в деревне и, входя, выходя, поздно прощаясь у дверей, вскользь обменивались замечаниями насчет ужина, детей, того-сего, и это сближало; так что, когда он теперь стоял с нею рядом со своим рассудительным видом (он ей в отцы годился, ботаник, вдовец, пахнул мылом такой щепетильный и чистый), она тоже осталась спокойно стоять. На ней, он отметил, кстати, превосходные туфли. Ничуть не стесняют ногу. Живя с ней под одной крышей, он замечал, как она дисциплинированна, до завтрака уже уходит с мольбертом, одна, надо думать: вероятно, бедна, и хоть, что и говорить, внешне ей далеко до обольстительной, розовой мисс Дойл, зато у нее голова на плечах, а это, на его взгляд, куда ценней. Вот сейчас, например, когда Рэмзи несся на них, жестикулируя, с воплем, мисс Бриско ведь безусловно все поняла.

Кто-то ошибся!

Мистер Рэмзи на них глянул. Глянул дико, не видя. Обоим стало несколько не по себе. Оба подсмотрели то, что не предназначалось их взорам. Будто вынудили чужую тайну. Потому-то, решила Лили, только чтоб поскорее уйти, чтоб не слушать, мистер Бэнкс, верно, и сказал почти сразу, что, мол, немного свежо и не стоит ли им пройтись. Да-да, отчего не пройтись. Но не без труда она оторвала взгляд от картины.

Ломонос был неистово фиолетовым; стена – слепяще белой. Она сочла бы нечестным смазывать неистовую фиолетовость и слепящую белизну, раз уж так она это видела, как бы ни было модно после приезда мистера Понсфурта все видеть бледным, изящно-призрачным, полупрозрачным. И ведь кроме цвета есть еще форма. Все ей так отчетливо, так повелительно виделось, пока она смотрела. Но стоило взять в руки кисть – и куда что девалось. В этот-то зазор между картиной и холстом и втискивались те бесы, которые то и дело чуть до слез не доводили ее, делая переход от замысла к исполнению не менее жутким, чем для ребенка переход в темноте. Вот что ей приходилось претерпевать, и, борясь с незадачей, она себя подбадривала; повторяла: «Да, так я вижу; так вижу» – и прижимала к груди жалкие остатки увиденного, которое злые силы вовсю у нее вырывали. И еще, когда она принималась писать, на нее, холодя, отрезвляя, накатывало другое: бездарь, ни на что не годна, отца держит на

Бромптон-Роуд, на задворках, – и неимоверных усилий стоило удержаться, не броситься к ногам миссис Рэмзи (слава Богу, не бросилась пока) и сказать – но что же ей скажешь? «Я вас люблю»? Но это неправда. «Я люблю это все», – жестом очерчивая изгородь, дом, детей? Глупость, чушь несусветная. То, что чувствуешь, – невозможно словами сказать.

И она сложила кисти в этюдник, аккуратно, одну к одной, и обратилась к Уильяму Бэнксу:

– Вдруг холодно стало. Солнце, что ли, больше не греет? – произнесла она, озираясь. Солнце светило достаточно ярко, сочно зеленела трава, дом сиял, охваченный пылким страстоцветом, и грачи роняли прохладные крики с высокой сини. Но что-то уже шелохнулось, повеяло, скользнуло по воздуху серебристым крылом. Как-никак был сентябрь, середина сентября, половина седьмого вечера. И они побрели по саду привычным маршрутом, мимо теннисного корта, куртины, к тому проему в густой изгороди, охраняемому двумя пучками тритом – пламенеющих лилий, в который синие воды бухты глянули синей, чем всегда.

Их что-то тянуло сюда каждый вечер. Будто вода пускала вплавь мысли, застоявшиеся на суше, вплавь под парусами, и давала просто физическое облегчение. Сперва всю бухту разом охлестывала синь, и сердце ширилось, тело плавилось, чтобы уже через миг оторопеть и застыть от колющей черноты взъерошенных волн. А за черной большой скалою чуть не каждый вечер, через неравные промежутки, так что ждешь его не дождешься и всегда наконец ему радуешься, белый взлетал фонтан, и пока его ждешь, видишь, как волна за волной тихо затягивают бледную излучину побережья перламутровой паволокой.

Так стоя, оба они улыбались. Обоим было весело, обоих бодрили бегущие волны; и бег парусника, который устремленно очерчивал по бухте дугу; вот застыл; дрогнул; убрал парус; и, естественно, стремясь к завершенью картины после этого быстрого жеста, оба стали смотреть на дальние дюны, и вместо веселья нашла на них грусть – то ли потому, что вот завершилось и это, то ли потому, что дали (думала Лили) словно на мильоны лет обогнали зрителя и уже беседуют с небом, сверху оглядывающим упокоенную землю.

Глядя на дальние дюны, Уильям Бэнкс думал про Рэмзи; думал про деревенскую улицу в Уэстморленде, и Рэмзи шагал один по этой улице, окутанный одиночеством, как своей естественной аурой. И вдруг все было прервано, Уильям

Бэнкс вспомнил (подлинный случай), прервано курицей, простершей крылья над выводком цыплят, возле которой Рэмзи остановился, показал на нее тростью, сказал: «Чудно, чудно», и какое-то странное озарение было тогда в сердце, думал Уильям Бэнкс, и осветило его простоту и сочувствие к малым сим; но дружбе их, кажется, тогда и настал конец, на самой той деревенской улице. Потом Рэмзи женился. Потом, что ни говори, из дружбы ушло главное. Чья тут вина, он не знал, но только открытия сменились повторами. Ради того, чтобы повторяться, они видались теперь. Но в молчаливом своем разговоре с дюнами он доказывал, что привязанность его к Рэмзи ничуть не уменьшилась; и как тело юноши пролежало столетье в торфянике, не утратив алости губ, так и дружба его во всей остроте и силе погребена там, за бухтой, в песчаных дюнах.

Ему это было важно установить ради дружбы, а еще, возможно, чтоб освободиться от смутного подозрения, что сам он засох, очерствел, Рэмзи ведь окружен детьми, он же вдов и бездетен – ему не хотелось бы, чтобы Лили Бриско недооценивала Рэмзи (по-своему великого человека), но она должна понять их отношения. Начавшись давным-давно, их дружба вся впиталась в пыль Уэстерморленда, когда курица распростерла крылья над своим выводком; после чего Рэмзи женился, их пути разошлись, и винить тут решительно некого, если при встречах появилась тенденция повторяться.

Да. Вот так-то. Он замолчал. Повернулся. И когда Уильям Бэнкс повернулся, чтоб возвращаться другим путем, по въездной аллее, перед ним вдруг явственно встало то, чего он не заметил бы, не найди он в песчаных дюнах тела дружбы, со всей алостью губ погребенной в торфянике, – например, Кэм, девчушка, младшая дочка Рэмзи. Она собирала кашку по откосу. Совершенно невозможная девчушка. Не хотела «дать дяде цветочек», как ни уговаривала няня. Нет! Нет! Нет! Ни за что. Сжимала кулачок. Топала ножкой. И мистер Бэнкс почувствовал себя старым, ему стало грустно, вот он все и свалил на дружбу. Наверное, сам он засох, очерствел.

Рэмзи не богаты, и просто чудо, как они ухитряются со всем управляться. Восемь человек детей! Восьмерых детей прокормить на философии! Тут еще один, на сей раз Джеспер, прошествовал мимо, птичку, что ли, подстрелить, как небрежно он выразился, на ходу энергично тряхнув руку Лили и заставив мистера Бэнкса горько заметить, что ее-то, однако же, любят. Одни расходы на образование чего стоят (правда, у миссис Рэмзи, возможно, имеются кой-какие независимые средства), не говоря уж о бесконечных обновках, которые всем этим «бравым ребятам» – рослым, буйным сорванцам – требуются ежедневно.

Кстати, он лично не в состоянии разобраться, кто из них кто и в каком они следуют порядке. Про себя он их окрестил на манер английских королей и королев: Кэм Непослушная, Джеймс Беспощадный, Эндрю Справедливый, Пру Красивая – ведь Пру должна быть красивой, куда она денется, а Эндрю – умным. Пока он шел по въездной аллее и Лили Бриско отвечала «да» или «нет» и все его оценки побивала единственным козырем (она влюблена в них во всех, влюблена в этот мир), он взвешивал положение Рэмзи, соболезновал ему и завидовал, словно тот на его глазах сбросил нимб отрешенности и аскетизма, его окружавший в юности, и, распростерши крылья, кудахтая, погрузился в домашность. Конечно, они ему кое-что дали; кто спорит; Уильям Бэнкс бы не отказался, чтобы Кэм всадила цветочек ему в петлицу или вскарабкалась, например, к нему на плечо, как залезла на плечи отца, разглядывая изображение извергающегося Везувия; но чему-то, и старый друг не может этого не заметить, они помешали. А как, интересно, на свежий глаз? Что думает эта Лили Бриско? Ведь нельзя не заметить, наверное, развившихся в нем новых замашек? Крайностей, даже, пожалуй, слабостей? Удивительно, как человек его интеллекта может так унижаться – ну, положим, это чересчур сильно сказано, – так зависеть от чужих похвал?

– И все же, – сказала Лили. – Подумайте о его работе!

Когда сама она «думала о его работе», всегда она ясно видела перед собой большой кухонный стол. Это все Эндрю. Она его спросила, про что пишет книги отец. «Субъект и объект и природа реального», – сказал Эндрю. И на ее: «О господи, да как же это понять?» – «Вообразите кухонный стол, – сказал он, – когда вас нет на кухне».

И вот всегда, когда думала о работе мистера Рэмзи, она воображала кухонный струганый стол. Сейчас он пристроился в развилке грушевого дерева, потому что они вошли уже в сад. И болезненным усилием воли она заставила себя сосредоточиться не на серебристо-шишковатой коре, не на рыбках-листочках, но на фантоме кухонного стола, дощатого, струганого, в глазках и прожилках стола, из тех, что словно кичатся своей прямотой и твердостью, который, дрыгнув всеми своими четырьмя, водворился в развилке грушевого дерева. Разумеется, если ты целыми днями созерцаешь угловатые сущности и промениваешь дивные вечера, оправленные фламинговым пушком облаков, серебром и синью, на белый сосновый стол о четырех ножках (чем и заняты изощреннейшие умы), тебя уже, разумеется, нельзя мерить обычной меркой.

Мистеру Бэнксу понравилось, что она его попросила «подумать о его работе». Он про это думает, очень думает. «Буквально без конца, – сказал он. – Рэмзи один из тех, кто лучшую свою работу пишет до сорока». Он внес существенный вклад в философию маленькой книжицей, когда ему было всего двадцать пять; последующее – лишь развитие, повторение. Но люди, которые вносят существенный вклад во что бы то ни было, – все наперечет, сказал он, останавливаясь подле груши, тщательно вычищенный, скрупулезно точный, утонченно беспристрастный. И, словно двинув рукой, он задел груз ее постепенно копившихся впечатлений, все они вдруг опрокинулись и хлынули на нее ливнем чувства. Это – первое. А потом, как сквозь дымку, проступила суть мистера Бэнкса. Это – второе. Ее пригвоздило остротою догадки; да это же строгость; и доброта. Я безмерно вас чту (говорила она без слов), вы не тщеславны; внутренне независимы; вы благороднее мистера Рэмзи; вы благороднее всех, кого доводилось мне знать; у вас ни жены, ни детей (она порывалась скрасить его одиночество, и секс тут решительно ни при чем), вы посвятили жизнь науке (к сожалению, перед глазами у нее всплыли разрезанные картофелины); от похвал бы вас только коробило; великодушный, чистосердечный, возвышенный человек! Но одновременно ей вспомнилось, что он сюда приволок лакея; сгонял с кресел собак; нудно распространялся (покуда мистер Рэмзи не выскакивал из комнаты, хлопнув дверью) о растительных солях и прегрешениях английских кухарок.

Как же все это согласить? Как судить о людях, как их расценивать? Как все разложить по полочкам и решить – один мне нравится, другой не нравится? Да и что, в конце-то концов, означают эти слова? Она стояла, пригвожденная к груше, а на нее обрушивались впечатления об этих двоих, и она не успевала за ними, как не успевает за разогнавшимся голосом растерянный карандаш, и голос, ее собственный голос, без подсказки провозглашал непререкаемое, безусловное, спорное, даже трещины и складки коры припечатывая навеки. В вас есть величие, в мистере Рэмзи нет его ни на йоту. Он мелок, эгоистичен, тщеславен; он избалован; тиран; он страшно изводит миссис Рэмзи; но в нем есть кое-что, чего в вас (она адресовалась к мистеру Бэнксу) нет как нет; он отрешен до безумия; отметает мелочи; он любит детей и собак. У него восемь человек детей. У вас – никого. Но как он недавно предстал в двух плащах перед миссис Рэмзи, требуя, чтоб она соорудила ему прическу в виде формы для пудинга? Все это пружинило вверх-вниз, вверх-вниз в голове Лили Бриско: как рой мечущихся, каждая сама по себе, но охваченных невидимой сеткой мошек; натекало сквозь ветви груши, в развилке которой еще витал образ струганого стола, воплощая ее глубокое преклонение перед разумом мистера Рэмзи; мелькало, мелькало, пока не лопнуло от напряжения; ей полегчало; совсем рядом грянул выстрел; и прочь

от его раскатов метнулась стайка всполошенных скворцов.

– Джеспер, – сказал мистер Бэнкс. И, потянувшись за сметенным лётом улепетывающих птиц, они повернули к террасе и вышагнули из проема в высокой изгороди как раз на мистера Рэмзи, который на них и обрушил трагическое:

– Кто-то ошибся!

Глаза, заволоченные волненьем, трагически вызывающие, невозможные, на секунду встретились с их глазами, и в них затлелось узнаванье; но тотчас рука метнулась к лицу, чтобы в муках стыда стряхнуть, отвести их нормальный взгляд; словно он умолял их секунду повременить с тем, что, он знал, неизбежно; словно он ясно показывал свою детскую обиду на непрошеное вторженье, но не желал сразу пускаться в бегство, решившись до конца удержать остатки драгоценного чувства, нечистый взрыв которого был источником его стыда и блаженства. Он резко повернул, как хлопнул у них перед носом дверью; и Лили Бриско и мистер Бэнкс, сконфуженно глянув в небо, убедились, что стайка скворцов, пустившихся в бегство от выстрела Джеспера, основалась на кронах вязов.

5

– Даже если завтра погода и будет плохая, – сказала миссис Рэмзи, поднимая взгляд на приближающихся Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, – так в другой раз будет хорошая. А теперь, – сказала она, решив, что прелесть Лили составляют ее раскосые китайские глаза на бледном личике с кулачок, но разглядит это только умный мужчина, – а теперь встань-ка, я твою ножку измерю. (Потому что, может, они еще выберутся на маяк и ей надо взглянуть, не следует ли чуть надвязать чулок.)

Нежно улыбаясь своей восхитительной мысли – Уильям и Лили непременно должны пожениться, – она взяла чулок из пестрой шерсти, крест-накрест по устью запертый спицами, и приложила Джеймсу к ноге.

– Стой тихонько, детка, – сказала она, потому что ревнивый Джеймс не желал служить манекеном для сынишки смотрителя и нарочно вертелся; ну и как же ей в таком случае разобраться – длинно ли, коротко ли, – спрашивала она.

Она подняла глаза, – и что за бес вселился в него, в ее младшенького, ее детеныша? – увидела гостиную, увидела кресла, – жуткое зрелище. Их потроха валяются по всему полу; верно Эндрю на днях выразился; ну а какой смысл, спрашивала она себя, покупать хорошие кресла, чтоб они тут гнили зимой, когда дом бросают на попечение местной старухи и он буквально насквозь промокает? Ничего: зато он снимается за бесценок; дети его обожают; и мужу полезно очутиться за тридевять земель, а точнее, за триста миль от библиотек, от учеников и от лекций; и для гостей есть место. Коврики, складные кровати, страшные призраки столов и кресел, получивших отставку в Лондоне, – здесь получали права; ну, кой-какие фотографии и, разумеется, книги. Книги, она подумала, размножаются почкованьем. И никогда у нее не хватает на них времени. Ох. Даже уж книги, поднесенные ей, надписанные собственноручно поэтом: «Той, чья участь повелевать…», «Более удачливой Елене наших дней»… стыдно сказать, она ведь их не открыла. И Крума «О разуме», и Бэйтса «Обычаи дикарей Полинезии» (Стой тихо, детка! – сказала она) тоже ведь не пошлешь на маяк. Рано или поздно, подумала она, дом захиреет до такой степени, что придется на что-то решиться. Хоть бы они ноги научились вытирать и не затаскивали в комнаты весь пляж – и то бы уж дело. Ну, крабов не запретишь, раз Эндрю действительно нужно их препарировать, и если Джеспер считает, что из водорослей получается суп, – тут тоже никуда не денешься; у Розы – свое: тростники, камни, ракушки; они все у нее одаренные, каждый по-своему. А в результате, вздохнула она, окидывая гостиную с пола до потолка и прикладывая чулок к ноге Джеймса, – дом с каждым летом ужасней. Ковер выгорает; отстают обои. Уж и не разберешь, что это розы на них. Но, конечно, если все двери вечно настежь и ни один слесарь в Шотландии не в состоянии наладить засов, – что же хорошего? И набрасывать зеленую шаль на раму картины – что толку? Через две недели будет как гороховый суп. Но больше всего ее раздражали двери; буквально все настежь. Она вслушалась. В гостиной открыто; в прихожей открыто; так и есть – небось и в спальнях открыто; и, уж конечно, открыто окно на лестнице, его-то она открыла сама. Окна надо открывать, двери закрывать, кажется, просто, неужто так трудно усвоить? Вечерами она обходила комнаты горничных, там у них душно, как в печке, у всех, кроме Мари, молоденькой швейцарки, ей лучше ванны не надо, только бы свежий воздух, а дома у них, она сказала, «горы-то какие красивые». Так она сказала вчера вечером, заплаканная, возле окна. «Горы-то у нас какие красивые». У нее, миссис Рэмзи знала, там отец умирал. Оставлял семью без отца. Она сердилась, показывала (как стелется

постель, как открывается окно, на французский манер расправляя пальцы), а после слов девушки вокруг нее тихо сомкнулось что-то, как после пролета сквозь солнечный луч тихо смыкаются крылья, и стальное сверканье их синевы перетекает в сдержанную лиловость. Она стояла и молчала, ведь что тут скажешь? Рак горла. Вспомнив все это – как она стояла, и девушка сказала: «Горы-то у нас какие красивые», и не было никакой, решительно никакой надежды, – она вдруг почувствовала раздражение и резко сказала Джеймсу:

– Стой тихо. Не балуйся. – И он тотчас понял, что она сердится не на шутку, вытянул ногу, и она ее смерила.

Чулок был короток по крайней мере на полтора сантиметра, даже делая скидку на то, что сынишка Сорли и менее рослый, чем Джеймс.

– Коротко, – сказала она. – И намного.

Никто никогда не глядел так печально. Черно и горько, на полпути вниз, в черноте, в глубине, в шахте, бегущей от света, быть может, скопилась слеза; скатилась слеза; воды качнулись, – сглотнули ее, затихли. Никто никогда не глядел так печально.

Но быть может, – люди говорили, – все дело в ее внешности? Что за этим – за красотою, за блеском? Правда, спрашивали, он пустил себе пулю в лоб, умер за неделю до их свадьбы – тот, другой, прежний, о котором ходили слухи? Или – и нет ничего? Ничего, кроме несравненной красоты, за которой она скрывается, которую ничем не испортить? Ведь что стоило ей в иную минутку, когда речь заходила о великой страсти, несбывшихся мечтах, растоптанной любви, вставить, что и она, мол, через такое прошла, к такому причастна, испытала такое? А она никогда ничего подобного не говорила. Она молчала. Но все равно она всегда знала. Все знала, ничему не учась. Ее простота всегда проникала в то, в чем путались, в чем обманывались умники, прямодушие научило камнем, как птица, устремляться на цель, взмывать и парить и пикировать прямо на истину, – а это захватывает; это поддерживает и дарит надежду – обманную, быть может.

«У природы немного той глины, – как-то сказал мистер Бэнкс, слушая ее голос по телефону и удивительно умиляясь, хотя она всего-навсего ему объясняла расписание поездов, – из какой она лепила вас». Он ее представлял себе на том

конце провода – гречанка, синеокая, с гордым носом. Нелепость – с такой женщиной разговаривать по телефону. Будто сразу все грации сошлись на лугах асфоделей, сочиняя это лицо. Да-да, он поедет Юстонским, в десять тридцать.

– Но она не больше ребенка печется о своей красоте, – сказал мистер Бэнкс, положив трубку и переходя в кабинет, чтоб взглянуть, как идут дела у рабочих, строящих гостиницу на задах его дома. И, наблюдая суету среди недостроенных стен, он думал о миссис Рэмзи. Ведь вечно, он думал, в гармонию ее черт вклинивается что-нибудь невозможное; она нахлобучивает войлочную шляпу; несется в калошах через лужайку вызволять из беды ребенка. Так что, когда думаешь исключительно о ее красоте, приходится учитывать то живое и зыбкое (они покамест грузили кирпич на носилки) и его приплюсовывать к общей картине; а если судить о ее женском характере, остается в ней допустить некую особенность, странность; предположить подспудное побуждение отринуть свою царственность, словно ей надоела ее красота и все, что ей вечно поют, а ей хочется быть как все – незаметной. Непонятно. Непонятно. Впрочем, пора было вернуться за стол.

Снова принимаясь за толстый красно-бурый чулок, странно выделяясь на фоне зеленой шали, наброшенной на золоченую раму, и подлинного шедевра Микеланджело, миссис Рэмзи смягчила свою минутную резкость, взяла сыночка за подбородок и поцеловала в лоб.

– Давай поищем, какую бы нам еще картиночку вырезать, – сказала она.

6

Но что случилось?

Кто-то ошибся.

Оторвавшись от дум, она вдруг осмыслила слова, уже давно отдававшиеся у нее в голове без всякого смысла. Кто-то ошибся. Найдя близорукими глазами мужа, который устремлялся теперь на нее, она продолжала смотреть, пока он не подошел совсем близко (созвучья сложились у нее в голове), и она поняла, что

что-то случилось, кто-то ошибся. Господи боже, да что ж там такое?

Он сдался; он дрогнул. Вся его суетность, вся уверенность в собственном великолепии, когда, как стрела, как сокол стремясь во главе своей рати, он несся долиной смерти – погибла, рассеялась. Под ярый снарядов вой, смело кидаясь в бой, он несся долиной смерти, над краем беды и вот расстроил ряды – Лили Бриско и Уильяма Бэнкса. Он дрогнул; он сдался.

Ни за что, ни за что сейчас нельзя было с ним заговаривать, потому что по некоторым неопровержимым признакам, по тому, как он отводил глаза, как весь съежился, сжался, будто прятался, чтоб ему не мешали вновь обрести равновесие, она поняла, что он разобижен и оскорблен. Она гладила Джеймса по голове; перенеся на него свое отношение к мужу, следя за маневрами желтого карандаша по белой манишке господина из каталога, она думала, как было бы дивно, если б он стал великим художником; почему бы нет? У него такой прекрасный лоб. Затем, подняв глаза на опять проходящего мимо мужа, она с облегчением убедилась, что беда миновала; победила прирученность; вновь завела свой баюкающий напев привычка; а потому, когда на повороте он намеренно остановился возле окна и шутливо нагнулся – пощекотать голую ногу Джеймса каким-то там прутиком, она ему попеняла, что спугнул «бедного юношу Чарльза Тэнсли». Тэнсли надо писать диссертацию, – сказал он.

– Джеймсу в свое время тоже придется писать диссертацию, – сказал он с ухмылкой, орудуя прутиком.

Джеймс ненавидел отца и оттолкнул этот прутик, которым в обычной своей манере – смесь серьезности и дурачества – он щекотал ногу младшему сыну.

Она вот хочет покончить с этим нудным чулком, чтоб уж послать его завтра сынишке Сорли, – сказала миссис Рэмзи.

Нет ни малейшей вероятности, что завтра они выберутся на маяк, – раздраженно отрезал мистер Рэмзи.

Откуда ему это известно? – спросила она. – Ветер ведь меняется часто.

Совершеннейшая неразумность ее замечания, удивительная женская нелогичность взбесили его. Он скакал долиной смерти, он дрогнул, он сдался; а

тут еще она не считается с фактами, подает детям абсолютно несбыточные надежды, попросту, собственно, лжет. Он топнул ногой по каменной ступеньке. «Фу-ты, черт!» – сказал он ей. Но что она такого сказала? Только – что завтра, может быть, будет хорошая погода. Так ведь и правда, может быть, будет.

Нет, если барометр падает и резко западный ветер.

Удивительное пренебрежение к чувствам другого во имя истины, резкий, грубый выпад против простейших условностей показались ей таким чудовищным попранием всех человеческих правил, что, огорошенная, ошарашенная, она склонила голову без ответа, будто безропотно подставляясь колкому граду, мутному ливню. Ну, что на такое сказать?

Он молча стоял перед нею. Очень смиренно он сказал наконец, что готов пойти расспросить береговую охрану, если угодно.

Никого она так не чтила, как чтила его.

Ей и его слова вполне довольно, – сказала она. Просто тогда надо сказать им, чтоб бутербродов не делали, вот и все! Они ведь все спрашивают, поминутно к ней прибегают, естественно, – за одним, за другим, на то она женщина; каждому что-нибудь нужно, дети растут; часто ей кажется – она просто-напросто губка, напитанная чужими чувствами. И вот он говорит: «Фу-ты, черт!» Он говорит – будет дождь; говорит – дождя не будет; и ей открывается безоблачное, беззаботное небо. Никого никогда она так не чтила. Она знала – она недостойна развязать ремень обуви его.

Уже стыдясь собственной вспышки и того, как размахивал он руками, несясь во главе рати, мистер Рэмзи, довольно глупо, ткнул напоследок голую ногу сына и, словно получив разрешенье жены (и до смешного ей напомнив тюленя в Зоологическом саду, когда, заглотнув свою рыбу, тот плюхнется прочь, расколыхав всю воду в бассейне), нырнул в линяющий вечер, который лишал уже объемности листья, изгороди и, словно взамен, одевал гвоздики и розы сиянием, какого в них не было днем.

– Кто-то ошибся, – сказал он, опять принимаясь вышагивать взад-вперед по садовой террасе.

Но как удивительно у него изменился голос! Как у кукушки; которая «июньским деньком поет не о том», будто он пробовал, искал струну для нового настроения и взял ту, что, хоть уже и сорванная, легла под руку. Как же это звучало смешно, «Кто-то ошибся», произносимое таким тоном, почти вопросительно, без убеждения, враспев. Миссис Рэмзи невольно улыбнулась, и в самом деле скоро, бродя взад-вперед по террасе, он эту фразочку пробубнил, обронил, – умолк.

Он был спасен, он вновь обрел ненарушимое уединение. Он остановился раскурить трубку, глянул на жену и сына в окне и, как, несясь в скором поезде мимо дерева, и двора, и постройки, поднимаешь от книги взгляд и в них видишь иллюстрацию, подтверждение чему-то на печатной странице и потом возвращаешься к ней подкрепленный, подбодренный, так и он, не видя, собственно, ни жены, ни сына, глянув на них, подкрепился, подбодрился и мог спокойно сосредоточиться дальше на разрешенье проблемы, которая поглощала все силы его блистательного ума.

Да, блистательного ума. Ибо, если мышление уподобить клавиатуре рояля, разделенной на столько-то клавиш, либо алфавиту, в котором буквы от первой и до последней выстроены в строгом порядке, – его блистательный ум без труда пробегает по всем этим буквам, пока не доходит, скажем, до П. Он достиг П. Очень немногие во всей Англии достигали когда-нибудь П. Тут, остановясь на минутку подле урны с геранями, он увидел – уже далеко-далеко, как детишек, собирающих ракушки на пляже, дивно невинных, поглощенных смешной чепухой у себя под ногами и решительно беззащитных против происков рока, которые он-то уже раскусил, – жену и сына, рядышком, в окне. Они нуждаются в его защите; она им обеспечена. Ну-с, хорошо – а после П? Что дальше? После П целый ряд букв, из которых последняя едва различима смертному взору и лишь смутно мерцает вдали. Ее достигает единственный в поколении. Однако если добраться хотя бы до Р – это уже кое-что. П он достиг. Тут он окопался. В П он абсолютно уверен. П он готов доказать. Но если П есть П, значит, Р… Тут он выбил трубку, несколько раз звонко стукнув по бараньему рогу, служившему урне ручкой, и стал думать дальше. «Значит, Р…» Он подобрался, напрягся.

Качества, при которых корабельная команда продержалась бы в бушующем море на шести сухарях и на фляге воды – выдержка, осмотрительность, справедливость, преданность, ловкость, – пришли к нему на выручку. Значит, Р… да, так что же такое Р?

Пленкой, как трепетным кожаным веком ящерицы, подернуло его зоркий взор, заслонило букву Р. И в этом озарении тьмы он услышал, как люди говорят, – он не состоялся, куда ему Р, Р ему не по зубам. Так нет же, вперед, к Р. Р…

Качества, которые нужны проводнику, вожаку, вдохновителю отчаянной экспедиции в стылую одинокость полярной ночи, чтоб, не поддаваясь ни отчаянию, ни обманным мечтам, твердо глянуть в лицо судьбе, – снова пришли к нему на выручку.

Снова дрогнуло веко ящерицы. На лбу у него взбухли жилы. Герани в урне стали странно прозрачны, и сквозь них проступало, хочешь не хочешь, древнее, очевиднейшее различие между двумя классами людей; с одной стороны – неустанные, сверхупорные, вышагивающие по порядку по всему алфавиту и его затверживающие от начала и до конца; и с другой – одаренные, вдохновенные, разом сглатывающие все буквы – гении. Он не гений; он на это не посягает; но он в состоянии или был в состоянии четко вытвердить весь алфавит. А меж тем – завяз на П. Ну, так вперед – к Р.

Чувство, которое не обесчестит и альпиниста, если тот видит, что валит снег и горы канули в муть, и, значит, придется лечь и принять смерть до утра – такое вот чувство нашло на него, разом выцветило глаза и на очередном повороте вдруг превратило его на миг в дряхлого старца. Но нет, он не намерен умирать лежа; он найдет выступ в скале и там, вглядываясь в бурю, не сдаваясь, прорываясь сквозь тьму, он встретит смерть стоя. Никогда ему не добраться до Р.

Он застыл подле урны со стекающими геранями. Да сколько же человек из тысячи миллионов достигали последней буквы? Разумеется, предводитель обреченной надежды может задать себе этот вопрос и ответить, не подводя соратников-землепроходцев: «Наверно, единственный». Единственный в поколении. Так можно ль его упрекать, что он не этот единственный? Если он честно трудился, отдавая все силы, покамест стало уже нечего отдавать? Ну а славы его – надолго ли станет? Даже умирающему герою позволительно перед смертью подумать о том, что о нем скажет потомство. Слава может держаться две тысячи лет. Но что такое две тысячи лет? (Иронически адресовался мистер Рэмзи к цветущей изгороди.) В самом деле – что? Если взглянуть с горной вершины на пустыни веков? Эти камни, которые пинаешь ногой, долговечней Шекспира. Ну а его огонек год-другой поблестит, а потом и потонет в более ярком, тот – в еще более ярком. (Он вглядывался в темный, сложный заговор

изгороди.) И кто упрекнет предводителя обреченной кучки, которая все же вскарабкалась достаточно высоко и видит пустыни лет, угасание звезд, кто его упрекнет, если, покуда смерть не сковала совсем его члены, он не без умысла поднимает онемелые пальцы ко лбу, расправляет плечи, чтобы, когда подоспеют спасатели, его нашли мертвого на посту безупречным солдатом? Мистер Рэмзи широко развернул плечи и очень прямо стоял возле урны.

Кто упрекнет его, если, стоя вот так подле урны, он размечтался на миг о спасателях, славе, мавзолее, который возведут над его костями благодарные продолжатели? Кто, наконец, упрекнет вождя безнадежной экспедиции, если, исчерпав всю отвагу, все силы, он засыпает, не заботясь о том, проснется он или нет, и по легкому колотью в пальцах догадывается, что жив и вовсе не прочь еще пожить, но мечтает о сочувствии, о виски, о ком-то, кто немедленно выслушал бы рассказ про его злоключенья? Кто его упрекнет? Кто тайком не порадуется, когда герой снимет доспехи, остановится подле окна, глянет на жену и на сына, очень дальних сперва; подплывавших все ближе и ближе, покуда губы, книга, глаза ясно вырисуются перед ним, такие еще дивные, непривычные после пристальности отъединенья и пустыни веков, угасания звезд, и он наконец сунет трубку в карман и склонит перед ней величавую голову – кто его упрекнет, если он склоняется перед красою вселенной?

7

А сын ненавидел его. Ненавидел за то, что к ним подошел, остановился, на них уставился; ненавидел за то, что им помешал; ненавидел за преувеличенную изысканность жестов; за эту его величавую голову, за требовательность и эгоизм (стоит и требует, чтобы им занимались); но всего больше ненавидел он этот трепет, эту натянутость, дрожь, которой рябило ясную гладь их отношений с матерью. Уставясь в страницу, он надеялся его отогнать; ткнув пальцем в слово, надеялся вернуть внимание матери, которое, он понял с тоскою, сразу отвлеклось на отца. Но нет. Мистера Рэмзи не так-то легко было отогнать. Он стоял, он требовал сочувствия.

Миссис Рэмзи, сидевшая привольно, обнимая сына, вдруг вся подобралась, подалась вперед, изогнулась и словно выпустила струю энергии, целый фонтан, и она трепетала, будто все ее силы разом слились в одну, а струя искрилась и

билась (покуда сама миссис Рэмзи осталась спокойно сидеть и опять взялась за чулок), и в эту-то драгоценную плодоносность, в этот плещущий источник жизни погружалась роковая мужская скудость, как медный, бесплодный и голый клюв. Он требовал сочувствия. Он не состоялся, – сказал он. Миссис Рэмзи сверкнула спицами. Мистер Рэмзи повторил, не отрывая глаз от ее лица, что он не состоялся. Она и слушать не хотела. «Чарльз Тэнсли…» – сказала она. Но ему было этого мало. Он требовал сочувствия. Перво-наперво, чтобы его уверили в его гениальности, а затем ввели в жизненный круг, утешили, ублаготворили, обратили бесплодие в плодоносность и чтобы все комнаты в доме наполнились жизнью, – гостиная; за гостиной – кухня; над кухней – спальни; и рядом – детские; чтоб все они ожили, наполнились жизнью.

Чарльз Тэнсли считает его крупнейшим современным мыслителем, – сказала она. Но ему было этого мало. Он требовал сочувствия. Чтобы его убеждали, что он нужен; необходим; не только здесь, во всем мире. Сверкая спицами, уверенная, прямая, она создавала гостиную, кухню, пронизывала блеском; приглашала его уютно располагаться, входить, выходить, отдыхать. Она смеялась, она вязала. Стиснутый ее коленями, Джеймс чувствовал, как вся ее сила устремлялась вверх, навстречу ненасытному медному клюву, безжалостному ятагану, который бил, бил и бил, требуя сочувствия.

– Он не состоялся, – повторил он. – Да что ты, опомнись, ну посмотри! – Сверкая спицами, она обвела взглядом комнату, посмотрела в окно, посмотрела на Джеймса и совершенно его уверила своим смехом, спокойствием, своею уверенностью (так няня, неся свечу темной комнатой, утешает раскапризничавшееся дитя), что все это – на самом деле; полный дом; и кипящий сад. Пусть только он положится на нее, и можно ничего не бояться, в какие бы ни погружался он бездны, в какие бы ни забирался выси, она всегда будет рядом. Так похваляясь способностью опекать, защищать, она уже не узнавала себя; ничего своего не осталось, все было отдано, расточено; и Джеймс, стиснутый ее коленями, чувствовал, как она тянулась вверх вишневым деревом, розовым кипенем, в пляске ветвей и листьев принимая медный клюв, безжалостный ятаган его отца, эгоиста, который бил, бил, бил, требуя сочувствия.

Насытясь ее словами, затихнув, как кормленое дитя, он сказал наконец, взглянув на нее, растроганный, обновленный, взбодренный, что он немного пройдется; надо посмотреть, как дети играют в крикет. Он ушел.

Тотчас миссис Рэмзи словно сложилась, как складывается на ночь цветок, вся словно опала, и у нее едва хватало сил, предаваясь блаженной усталости, водить пальцем по строкам сказки Гриммов, и, как нежно бьется до предела растянутая и теперь стихающая пружина, в ней пульсом бился восторг удавшегося творенья.

Каждый удар этого пульса сближал ее с мужем, шагающим прочь, обоих связывал утешеньем, какое дарят друг другу, сливаясь, два разные – один высокий, один низкий – струнные голоса. И все же, когда замер последний отзвук и она вернулась к волшебной сказке, миссис Рэмзи ощущала себя не просто физически опустошенной (так всегда бывало, не сразу, но после), к ощущению усталости примешивалось что-то смутно тоскливое, совсем из другой оперы. Не то чтобы, читая вслух о рыбаке и рыбке, она знала точно, откуда это взялось; и она бы себе не позволила выразить словами свою неудовлетворенность, когда, перевернув последнюю страницу и услышав, как плоско, зловеще упала волна, поняла, отчего это все: ей не хотелось ни на секунду чувствовать себя выше мужа; и потом, ужасно было неприятно, разговаривая с ним, самой не вполне верить в свои слова. Ну, конечно, она нисколечко не сомневалась, что все эти университеты и люди без него пропадут; что все эти его лекции, книги необходимы, как воздух; но их отношения, то, что он к ней подходит так, у всех на глазах – вот что негоже; ведь скажут – он от нее зависит, а им бы знать, что из них двоих он в тысячу раз важней и то, что дает миру она, с тем, что дает он, не идет ни в какое сравнение. Ну, и еще другое, – что она не смогла, не решалась сказать ему правду, например, насчет крыши в теплице, что починка встанет, может быть, в пятьдесят фунтов; и потом – насчет его книг – ведь она побаивалась, как бы он сам не догадывался о том, что смутно подозревала она: что последняя книга – не лучшая из его книг (это она заключила со слов Уильяма Бэнкса); и приходилось утаивать повседневные мелочи, и дети замечали, а им это вредно – и все вместе взятое отравляло общую радость, чистую радость двух сливающихся голосов, и уже их звук отдавался у нее в ушах, вялый и полый.

Тень легла на страницу. Это Август Кармайкл шаркал мимо, и сейчас, главное в тот момент, когда ей так неприятно было сознавать несовершенство человеческих отношений; даже лучшие из них – с червоточиной, не выдерживают досмотра, который, любя мужа и с этим своим правдолюбием, она затеяла вдруг; когда она сама была себе неприятна, когда так гадко было на душе от собственных преувеличений и лжи, которые даже мешают честному исполнению долга, главное, в самый тот момент, когда ей стало вдруг так тяжело, так тяжело после дивного настроения, мистер Кармайкл прошаркал

мимо в своих желтых шлепанцах, и черт дернул ее за язык спросить:

– Погуляли, мистер Кармайкл?

8

Он ничего не ответил. Он принимал опиум. Дети видели – они говорили, – у него от опиума на бороде желтые пятна. Возможно. Ей было ясно одно – бедняга несчастен, каждый год приезжает к ним, как в прибежище; и однако же каждый год она чувствовала все то же – он ей не верит. Она говорила: «Я – в город. Купить вам марок, бумаги, табаку?» И чувствовала, как его передергивает. Он ей не верит. А все его жена. Она вспомнила, как непристойно жена с ним обращается. Сама она просто обомлела тогда, в этой их жуткой комнатенке на Сент-Джонс-Вуд, когда эта особа выпроваживала его из дома. Он неприбранный; роняет все на пиджак; нудный, как все старики, которым решительно нечего делать; и она его выпроваживала за дверь. Сказала в своем непристойном тоне: «Ну вот, миссис Рэмзи, нам с вами надо покалякать наедине», и миссис Рэмзи будто собственными глазами увидела бесконечную цепь его унижений. На табак-то ему хоть хватает? Или каждый раз надо у ней клянчить? Полкроны? Восемнадцать пенсов? Страшно, как подумаешь о всех этих мелких уколах, которые он от нее терпит. И вот (ну, разумеется, из-за жены, а то отчего бы?) теперь он к ней плохо относится. Он ничего не говорит. Но что она может еще для него сделать? Ему отведена солнечная комната. Дети с ним милы. Ничем ни разу она не показала, что он ей не нужен. Из кожи, наоборот, лезет, чтоб ему угодить. Не хотите ли марок, не хотите ли табаку? Вот эта книга вам непременно понравится и прочее. И в конце-то концов, в конце концов (тут она невольно вся в буквальном смысле подобралась, вспомнив, что с ней редко бывало, о своей красоте) – в конце концов, ей обычно ничего не стоит понравиться человеку; Джордж Мэннинг, например; мистер Уоллис; знаменитые, кажется, люди, а захаживают же к ней на огонек поболтать наедине. При ней всегда, от этого никуда не денешься, – знамя красоты. Это знамя она высоко поднимает, переступая любой порог; и в конце концов, как ею ни пренебрегай, как ни тяготись ею – красота есть красота. И все всегда восхищаются ею. Ее любят. Она входит в комнаты, где сидят скорбящие. При ней проливаются слезы. Мужчины, да и женщины, сбрасывают тяжкий груз сложностей и при ней дают себе волю вести себя просто. Ее задевало, что он от нее шарахается. Было обидно. И все же – не совсем это так, не совсем то. Главное, неприятно, что

именно в тот момент, когда мистер Кармайкл прошаркал мимо в своих желтых шлепанцах, с книгой под мышкой, едва кивнул на ее вопрос, к ее досаде на мужа примешалось чувство, что ей не доверяют; что вся ее эта жажда давать, помогать – сплошное тщеславие. Не для собственного ли удовольствия ей так не терпится помогать, давать, чтоб потом говорили: «Ах, миссис Рэмзи! Милая миссис Рэмзи… миссис Рэмзи вообще…» – и нуждались бы в ней, посылали за ней, ее восхваляли? Не того ли она втайне желает? И потому, когда мистер Кармайкл шарахнулся от нее, пробираясь в укромный уголок, чтоб засесть там за дежурным акростихом, ее не просто оскорбили в лучших чувствах, ей указали на известную мелкость в ней самой и в человеческих отношениях – что они с червоточиной, недостойны, эгоистичны – даже самые лучшие из отношений. Усталая, измученная и, вероятно (щеки впали, волосы поседели), не такая уже отрада для взоров – не обязана ли она сосредоточиться на сказке о рыбаке и рыбке и умиротворить этот комок нервов (остальные все – дети как дети) – своего сына Джеймса?

– «Опечалился рыбак, – прочла она вслух. – Не хотелось ему идти. Неправильно это было. Но делать нечего, пошел он к морю. Смотрит – а вода в море синяя, серая, темная, уже не зеленая, не ясная, как прежде, но покуда еще спокойная. И сказал рыбак…»

Миссис Рэмзи предпочла бы, чтобы тут муж ее не остановился. Сказал же, что пойдет посмотреть, как дети играют в крикет, ну и шел бы. Но он ни слова не произнес; он глянул; он кивнул; кивнул поощрительно; и двинулся дальше.

Он соскальзывал, глядя на эту изгородь, которая столько уже раз отчеркивала паузу, подводила итог, глядя на жену и на сына, снова глядя на урну с красными никнущими геранями, которые так часто оттеняли ход его мыслей и хранили их на листах, как попавшие под руку в угаре чтенья клочки бумаги хранят наши записи, – глядя на все это, он тихо соскальзывал в размышления по поводу статьи в «Таймсе» относительно числа американских туристов, ежегодно посещающих домик Шекспира. Не будь никогда на свете Шекспира, спрашивал он себя, много ли переменился бы теперешний мир? Зависит ли прогресс цивилизации от великих людей? Улучшилась ли участь среднего человека со времен фараонов? Является ли участь среднего человека критерием, по которому мерится уровень цивилизации? Нет, вероятно. Вероятно, для высшего блага общества требуется существованье рабов. Служитель при лифте есть непреложная необходимость. Мысль показалась ему неприятна. Он запрокинул голову. Не надо, не надо; лучше найти лазейку и несколько снизить роль

искусств. Он готов доказывать, что мир существует для среднего человека; что искусства – лишь побрякушки на человеческой жизни; они ее не выражают. И Шекспир никакой ей не нужен. Сам не зная, зачем ему понадобилось низводить Шекспира и бросаться на выручку к служителю, вечно торчащему при дверях лифта, он дернул с изгороди листок. Всем этим можно попотчевать через месяц юнцов в Кардиффе, подумал он; здесь, на этой лужайке, он только пробавляется, только пасется (он отбросил содранный в таком раздраженье листок), как кто-то, свесясь с коня, набирает охапку роз или набивает карманы орехами, топча наобум поля и луга с детства знакомой округи. Все тут такое знакомое; тот поворот, тот плетень, тот перелаз. Вечерами, посасывая трубку, он может вдоль и поперек обшарить мыслью знакомые стежки и выгоны, кишащие биографиями, и баталиями, и преданьями, и стихами, и живыми фигурами – там воин, а там и поэт; и все отчетливо, четко. Но всегда перелаз, поле, выгон, орешник и живая цветущая изгородь в конце концов выводят его к дальнему повороту дороги, где он спешивается, оставляет на оброти коня и дальше идет пеший, один. Он дошел до края лужайки и глянул вниз, на бухту.

Хочешь не хочешь, а такая судьба у него, такой уж заскок – вот так убегать на узкий край земли, постепенно смываемый морем, и стоять одинокой печальной птицей. Такая уж власть у него, такой дар – вдруг сбрасывать лишнее, скудеть и сжиматься, даже физически себя чувствовать вдруг похудевшим, но ничуть не теряя пронзительности ума, стоять на утесе один на один с темнотою людского неведения (мы ничего не знаем про то, как море слизывает почву у нас из-под ног) – уж такая судьба у него, такой дар. Но поскольку он, спешиваясь, сбрасывает все жесты, условности, всю добычу из орехов и роз и так сжимается, что не то что о славе не помнит, не помнит и своего имени, он сохраняет в своей одинокости зоркость, не терпящую мнимостей, не тешащуюся виденьями, и таким вот манером вызывает он у Уильяма Бэнкса (переменчивого) и Чарльза Тэнсли (раболепного), а сейчас у жены (она вскинула взгляд, смотрит, как он стоит на краю лужка) чувства восхищения, жалости и еще благодарности, как бакен на фарватере, приманивающий волны и чаек, вызывает у веселых матросов благодарность за то, что взял на себя тяжкий долг одиноко означать глубины.

«Но отец восьмерых детей не имеет выбора…» Пробормотал это себе под нос, оборвал свои мысли, повернулся, вздохнул, поднял глаза, нашел взглядом жену, читавшую сыну сказку, набил трубку. Он отвернулся от зрелища людского неведения, и судьбы людской, и моря, слизывающего почву у нас из-под ног, зрелища, которое, будь у него возможность его рассмотреть подетальней, навело бы на какие-то выводы; и вот нашел утешение в пустяках, столь

несопоставимых с прежней высокой темой, что готов был перечеркнуть свою радость, от нее отпереться, как будто попасться с поличным на радости в нашем многострадальном мире для порядочного человека кошмарнейшее преступление. Да, положим; он, в сущности, счастлив; у него такая жена; такие дети; через месяц он подрядился молоть разную белиберду перед юнцами в Кардиффе про Локка, и Юма, и Беркли, про истоки Французской революции. Но все это, и удовольствие, которое ему давало все это, собственные фразы, красота жены, восхищенье юнцов, знаки признания из Соунси, Кардиффа, Эксетера, Саутхэмптона, Киддерминстера, Оксфорда, Кембриджа – все приходилось презирать и прятать под фразой «молоть разную белиберду» – ведь на самом-то деле он не осуществил того, что мог бы осуществить. Это маска; скрытность человека, который боится себя проявить, не может прямо сказать: «Вот что я люблю, вот кто я»; что и раздражало Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, и они недоумевали, зачем эта скрытность нужна; зачем ему вечно нужны похвалы; почему человек такой дерзостной мысли – в жизни так робок; и удивительно даже, как он одновременно достоин восхищения и смешон.

Выше сил человеческих – проповедовать и учить, – предположила Лили. (Она принялась складывать кисти.) Если чересчур высоко вознесешься, уж непременно брякнешься оземь. Миссис Рэмзи слишком ему потакает. И потом – эти резкие перепады. Он отрывается от своих книг и видит, как мы бьем баклуши и мелем вздор. Вообразите, какой перепад после его возвышенных мыслей, – сказала она.

Он направился к ним. Вот застыл, стал в молчанье смотреть на море. Вот снова двинулся прочь.

9

– Да, – сказал мистер Бэнкс, глядя ему вслед. – Страшно досадно. (Лили что-то говорила про то, как он ее огорошивает этими своими резкими перепадами настроения.) Да, – сказал мистер Бэнкс, – страшно досадно, что Рэмзи совершенно не умеет вести себя по-людски. (Лили Бриско ему нравилась. Он мог говорить с ней о Рэмзи вполне откровенно.) Потому-то, – сказал он, – нынешняя молодежь и не читает Карлейля. Старый злобный брюзга вскидывался, когда ему подавали остывшую кашу, – и этот еще будет нас поучать? Так, думалось

мистеру Бэнксу, говорит нынешняя молодежь. Страшно досадно, если считать, как считает, скажем, он сам, Карлейля величайшим учителем человечества. Лили призналась, что, к стыду своему, со школьных времен не читала Карлейля. Но ей лично мистер Рэмзи даже симпатичнее оттого, что царапину на своем мизинце он приравнивает к мировой катастрофе. Это бы еще полбеды. Но ведь кого он обманет? Он у вас открыто выклянчивает восхищения, лести, своими мелкими уловками он никого не обманет. И ей претит эта его узость, эта его слепота, – сказала она, глядя в удаляющуюся спину.

– Чуть-чуть лицемер? – предположил мистер Бэнкс, тоже глядя на удаляющегося мистера Рэмзи, и разве он не думал о его дружбе и о том, как Кэм не захотела ему подарить цветок, и про всех этих девчонок и мальчишек, и про свой собственный дом, такой уютный, но притихший после смерти жены? Да, конечно, у него остается работа… Тем не менее ему страшно хотелось, чтоб Лили согласилась с ним, что Рэмзи, как он выразился, «чуть-чуть лицемер».

Лили Бриско продолжала складывать кисти, то поднимая глаза, то опуская. Подняла глаза – мистер Рэмзи шел прямо на них, вперевалку, небрежный, рассеянный, отвлеченный. Чуть-чуть лицемер? – повторила она. Ох, нет – искреннейший из людей, самый честный (вот он идет), самый лучший; но она опустила глаза и подумала: он слишком занят собой, он тираничен, капризен; и она нарочно не поднимала глаз, потому что только так и можно сохранять беспристрастность, когда гостишь у этих Рэмзи. Едва поднимешь глаза и на них глянешь, их окатывает твоею, как это у нее называлось, «влюбленностью». Они превращаются в частицу того невозможного, дивного целого, каким мир делается в глазах любви. К ним ластится лето; ласточки летают для них. И еще даже восхитительней, поняла она, увидев, как мистер Рэмзи передумал и шагает прочь, и миссис Рэмзи сидит с Джеймсом в окне, и плывут облака, и клонится ветка, – что жизнь, складываясь из случайных частностей, которые мы по очереди проживаем, вдруг вздувается неделимой волной, и она подхватывает тебя, и несет, и с разгона выплескивает на берег.

Мистер Бэнкс ждал от нее ответа. И она собралась уже что-то сказать в осуждение миссис Рэмзи, что и она, мол, не идеал, слишком властная, или что-то в подобном роде, когда все это вдруг оказалось не к месту, потому что мистер Бэнкс был в восторге. Именно так, и не иначе, если учесть его шестой десяток и его чистоту, беспристрастность и как бы облекший его белоснежный покров науки. Восторг на лице мистера Бэнкса, смотревшего на миссис Рэмзи, понимала Лили, стоил любви десятка юнцов (хотя не известно еще, удавалось ли миссис

Рэмзи стяжать любовь десятка юнцов). Это любовь, – думала она, якобы занявшись холстом, – профильтрованная, очищенная; не цепляющаяся за свой предмет; но, как любовь математика к своей теореме или поэта к строфе, призванная распространиться по всему миру, стать достоянием человечества. Вот такая любовь. И миру неизбежно бы пришлось ее разделить, окажись мистер Бэнкс в состоянии растолковать, чем эта женщина так его пленяет; отчего, глядя, как она читает сыну волшебную сказку, он ликует в точности так же, как если б вот сейчас разрешил научную проблему, доказал нечто неоспоримое о пищеваренье растений и тем самым навеки одолел варварство и поборол хаос.

Из-за его восторга – а как же еще прикажете это назвать? – у Лили Бриско совершенно вылетело из головы все, что она намеревалась сказать. Чушь какую-то; что-то насчет миссис Рэмзи. Все бледнело рядом с этим «восторгом», этим немым созерцанием, за которое она была истинно ему признательна; ведь что еще может так утешить, так развязать жизненные узлы, так облегчить, как не эта высшая сила, небесная благодать, и ее не станешь тревожить, пока она длится, как не будешь ломать привольно разлегшийся поперек пола солнечный луч.

То, что люди способны так любить, что мистер Бэнкс способен чувствовать такое к миссис Рэмзи (она его оглядывала в раздумье), в сущности, ведь помогает жить, возвышает душу. Она вытирала старым лоскутом одну кисть за другой, нарочно с особенной тщательностью, таким образом прячась от восхищения, распространявшегося на всех женщин сразу. В сущности, ведь это и ей самой комплимент. Пусть его смотрит. Тем временем можно взглянуть на картину.

Она чуть не расплакалась. Картина была плохая, плохая, из рук вон плохая картина! Ну, конечно, все можно бы сделать иначе; цвет – тоньше, бледней; формы – воздушней; так это увидел бы Понсфурт. Но она-то так не увидела. Для нее цвет горел на стальном каркасе; сиял бабочкиным крылом на контрфорсе собора. От всего этого на холсте осталось несколько небрежных разводов. Да никто и смотреть-то не будет; не повесят даже; и опять мистер Тэнсли ей нашептывал в уши: «Женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером»…

Наконец она вспомнила, что она собиралась сказать про миссис Рэмзи. Неизвестно, как бы она сформулировала; что-то критическое. На днях ей не очень понравилась некоторая самоуверенность. Разглядывая миссис Рэмзи под углом зрения мистера Бэнкса, она думала, что ни одной женщине не дано так

восхищаться другою, как вот сейчас восхищается он; остается только вместе укрыться под шатром, который раскинул над ними обеими мистер Бэнкс. К снопу его лучей она присовокупила свой отдельный, особенный лучик, решив, что миссис Рэмзи неоспоримо прелестнейшая из людей (когда склоняется так вот над книжкой); быть может, самая лучшая; и все-таки она не похожа на тот безупречный образ, предлагаемый нашим взорам. А почему непохожа, чем непохожа? – спрашивала она себя, соскребая с палитры горы зеленого и голубого, оказавшиеся на поверку безжизненными комками, и клянясь себе завтра же их одухотворить, оживить, заставить струиться по ее произволу. Да, так чем же она непохожа? Что в ней – зернышко, что в ней – суть, и почему, найдя в углу дивана перчатку, вы по замятому пальцу сразу решите, что перчатка – ее? Скорая, как птица, неотвратимая, как стрела. Своевольная; властная. (Ну, конечно, спохватилась Лили, я имею в виду ее отношения с женщинами, и я же гораздо моложе, и кто я такая – живу на задворках на Бромптон-Роуд.) Распахивает окна в спальнях. Запирает двери. (Она старалась настроиться на лейтмотив миссис Рэмзи.) Вернувшись заполночь, легонько постучавшись к тебе, окутанная старой меховой шубкой (она всегда так оправлена – наспех, и однако, к лицу), она могла изобразить что угодно: Чарльз Тэнсли посеял зонтик; мистер Кармайкл шаркает и сопит; мистер Бэнкс рассуждает: «Таким образом, теряются соли растений». И всех она очень ловко изображала; даже зло передразнивала. А потом, отойдя к окну, якобы собираясь идти – уже утро, вот-вот солнце встанет – и опять отворотясь от окна, уже задушевно, хотя и смеясь еще, она убеждала, что всем, всем – ей, Минте, – всем надо замуж, потому что какими бы ни осыпали вас лаврами (миссис Рэмзи ни в грош не ставила ее живопись), какие бы вам ни достались победы (миссис Рэмзи, вероятно, свое получила), – тут, погрустнев, затуманясь, она возвратилась к ее креслу – ясно одно; незамужняя женщина (она легонько потрепала ее по руке), незамужняя женщина теряет в жизни самое ценное. И дом был полон, казалось, детским сном, бдением миссис Рэмзи; ночниками и тихим посапыванием.

Ах, но ведь могла возразить Лили, у нее есть отец; есть свой дом; и даже, простите, живопись. Но все это было так мелко, наивно в сравненье с другим. Да, и покуда редела ночь и белое утро натекало сквозь щель между шторами, и уже подавала голос в саду какая-то птица, она набиралась отчаянной храбрости объявить, что она – исключенье из общего правила; и доказывать: она любит быть одна, сама по себе; она не создана для другого, – с тем, чтоб наткнуться в ответ на серьезный, несравненно бездонный взор и непререкаемую уверенность миссис Рэмзи, что ее миленькая Лили, ее Бриска-киска (она вдруг превратилась в ребенка) – просто-напросто дура. И тут, помнится, она положила голову на колени миссис Рэмзи и смеялась, смеялась, смеялась, смеялась почти

истерическим смехом, мысли о том, как миссис Рэмзи царственно вершит судьбы тех, кого решительно не дано ей понять. Вот, сидит – серьезная, простая. Вернулось прежнее ощущение – насчет замятого пальца. Ну, и в какое такое мы тут проникли святилище? Лили Бриско наконец подняла глаза. Миссис Рэмзи недоумевала, что тут смешного, – все такая же царственная, но уже ни следа своеволия, и вместо него – что-то светлое, как прогал, наконец-то открывшийся за облаками, кусочек ясного неба, дремлющего подле луны.

Что это? Мудрость? Знание? Или скорей золотая обманная сеть красоты, улавливающая все наши предположения на полпути к правде? Или в ней упрятан секрет, на котором, Лили нисколько не сомневалась, и зиждется судьба человечества? Не всем же мыкаться, вечно перебиваться, как она сама? Но если что-то знаешь – почему не открыть? Сидя на полу, изо всех сил сжимая колени миссис Рэмзи, улыбаясь мысли, что миссис Рэмзи вовек не догадается, отчего она так обнимает ее, она думала, что в покоях сердца и ума этой женщины, сидящей сейчас – ближе некуда, как сокровища в царских гробницах, упрятаны тайные начертания, которые, если их разгадать, нас бы всему научили, но их никогда не откроют, никогда не прочтут. Какой же ключ, известный любви или хитрости, отпирает эти покои? Какое есть средство стать, как смешавшаяся в одном сосуде вода, не отторжимым от предмета твоего обожания? Достигает ли этого тело или дух, незаметно свиваясь с другим в тончайших мозговых переходах? Или сердце? Могла бы любовь, как это называется у людей, объединить ее с миссис Рэмзи в одно? Ведь ей не знание нужно, но единение, никакие не начертания, ничего, что пишется на каком бы то ни было языке, но сама близость, которая ведь и есть знание, думала она, уткнувшись в колени миссис Рэмзи.

Ничего не произошло. Ничего! Ничего! – пока она лежала головою на коленях миссис Рэмзи. И тем не менее она поняла, что мудрость и знание хранятся у миссис Рэмзи в сердце. Как же, спрашивала она себя, что-то узнаешь про людей, если они опечатаны? Только кружишь над куполом улья, как пчела, приманясь недоступной осязанью и вкусу вязнущей в воздухе сладостью, порыщешь в одиночку над дальними странами и кружишь над ульями с их жужжаньем и давкой, над ульями, которые люди и есть. Миссис Рэмзи поднялась. Лили поднялась. Миссис Рэмзи ушла. И потом не один еще день, как после нашего сна проступает легкая перемена в том, кто нам снился, сквозь все, что говорила она, пробивался призвук жужжанья, и, сидя в плетеном кресле в гостиной подле окна, она для Лили облекалась торжественно очертанием купола.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/virdzhiniya-vulf/na-mayak-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити